



Валентин  
КАПЛЕВ

сухой  
лимаж

# Валентин Петрович Катаев

## Сухой лиман

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=155342](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155342)*

*Валентин Катаев «Сухой лиман»: Советский писатель; Москва; 1986*

### Аннотация

В книгу выдающегося советского писателя, Героя Социалистического Труда Валентина Катаева вошли произведения, в которых автор рассказывает о прожитом и пережитом: «Юношеский роман», «Сухой лиман», «Спящий», «Обоюдный старичок», «Кубик».

# Валентин Катаев

## Сухой лиман

Через некоторое время после своего рождения в конце девятнадцатого века мальчик Миша стал познавать окружающий его мир. Он узнал, что, кроме имени Миша, у него есть еще фамилия Синайский. Она ему сначала не понравилась, но потом привык. Фамилия Синайские была также фамилией его папы и мамы и всех его братьев и сестер, которые были настолько старше Миши, что в сравнении с ними мальчик как бы не шел в счет.

Ему не с кем было играть.

Вскоре оказалось, что кроме них в городе есть еще какие-то другие Синайские.

Это неприятно поразило мальчика.

Однако когда выяснилось, что «те, другие» Синайские их близкие родственники, Миша примирился: отец других Синайских приходился родным братом его отцу, значит, был его родным дядей, а жена этого родного дяди была его родной тетей. У этих других Синайских – у дяди и тети – был тоже сын, мальчик, как и он, только назывался Саша, но он

был на полтора года моложе Миши и его еще, по обычаю того времени, до трех лет одевали, как девочку, в платьице, тогда как Миша уже носил штанишки, так что Саша не годился ему в товарищи.

Маленький Саша скоро подрос, и его стали одевать, как и подобало мальчику. Это вполне сравняло его с двоюродным братом Мишей Синайским, который, впрочем, до конца своей жизни смотрел на Сашу несколько критически, как на младшего.

Их часто возили на конке через весь город в гости друг к другу, и они играли друг с другом в разные игры. Чаше всего Сашу возили к Мише.

Конка останавливалась недалеко от здания так называемой старой семинарии, где жили Синайские-старшие. У Миши была своя собственная игрушечная мебель: шестигранный столик и два стульчика производства нижегородских кустарей, расписанные черными как сажа и огненно-красными сказочными цветами, похожими на крылья жар-птицы, покрытые лаком, желтым, как постное масло. Они говорили детскому воображению о каком-то неведомом древнерусском мире и об их вятских или новгородских предках – священнослужителях, о которых мальчики слышали от родителей.

Миша и Саша сидели за маленьким сказочно красивым

Кустарным столиком в крошечных креслицах и играли в кубики с черными печатными буквами, среди которых в те времена еще были странные ять, «и» с точкой, фита и твердый знак, казавшийся какой-то птицей, как-то неестественно повернутой задом наперед и особенно неприятной, даже зловещей. Кубики заменяли им букварь.

Иногда им становилось скучно. Тогда они начинали бегать: носились галопом по всем комнатам, опрокидывали стулья. Они стреляли друг в друга из игрушечных деревянных ружей с пружинами в жестяных стволах. Стреляли крашеными палочками с резиновыми наконечниками в виде кружков, которые присасывались к стенкам.

Когда баловство доходило, как выражались взрослые, до своего апогея, то любимой игрой их было опрокидывать качалку. Они накрывали ковром ее задранные вверх потертые полозя и друг за другом проползали в темноте под ковром, пахнувшим нафталином и застоявшимся табачным дымом. Затем с лихими возгласами они скатывались с другой стороны по сетчатой спинке качалки. Это называлось у них «боборыкин».

Откуда мальчики подхватили это не имеющее для них смысла, но такое подходящее к случаю слово? Вероятно, они слышали его, когда взрослые вели литературные споры, обсуждая какой-нибудь роман весьма известного в то время писателя Боборыкина.

Слово «боборыкин» воспринималось как нечто вроде сло-

ва «катавасия».

«Боборыкин» и «катавасия» были слова-близнецы. Миша и Саша лихо выкрикивали их, выкатываясь на животах из-под ковра, покрывавшего опрокинутую качалку.

Они тогда еще не знали, что «катавасия» слово церковное. Катавасией называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви.

Сашу одевали в матросский костюмчик, а Мишу – в русском народном духе – в плисовые шаровары и красную атласную косоворотку, подпоясанную витым шелковым шнурком с кисточками.

Таким Саша навсегда и запомнил своего двоюродного брата – сидящим в маленьком кустарном креслице, наморщив носик и склонив милую круглую головку с темно-русыми, слегка рыжеватыми волосами, постриженными в кружок.

Миленький русский ямщик, да и только!

...С тех пор прошло, пожалуй что, гораздо больше полувека. Бывший мальчик Саша, а ныне пожилой человек, член-корреспондент Академии наук Александр Николаевич Синайский, приехал вместе с комиссией по охране окружающей среды в город, где родился и долгое время жил. Приехав, он отправился в местный военный госпиталь навестить

своего двоюродного брата Мишу Синайского, известного военного врача в отставке, который лежал там со вторым инфарктом и уже поправлялся.

Бывший мальчик Миша, ныне Михаил Никанорович Синайский, после Великой Отечественной войны, выйдя в отставку, поселился в Одессе, своем родном городе, решив остаток жизни провести на берегу Черного моря, покупаться в Куяльницком лимане.

Госпиталь был старинный, еще времен севастопольской войны, так замечательно описанной Львом Толстым в своих «Севастопольских рассказах». Этот госпиталь был знаменит тем, что в нем некогда работал великий русский хирург Пирогов. С его времени сохранилась госпитальная стена и несколько приземистых корпусов с зелеными водосточными трубами над кадками для стока дождевой воды. Двухэтажные корпуса эти, расположенные среди старых акаций и газонов, огороженных по-казарменному выбеленными кирпичами, имели довольно унылый вид Дорожки, посыпанные морским гравием с ракушечками, поскрипывали под ногами Александра Николаевича, слегка похрамывающего по причине двух ранений – одного еще во время первой мировой войны полученного в Карпатах, а другого в боях на Курской дуге в дни Великой Отечественной.

Кое-где в аллеях виднелись серые халаты ходячих боль-

НЫХ.

На скамейке под кустом давно уже отцветшей сирени сидел двоюродный брат Александра Николаевича Михаил Никанорович и читал Пушкина. Увидев подходящего двоюродного брата, он отложил книгу и, поправив на своем старом, сморщенном носу пенсне, улыбнулся.

Двоюродные братья обнялись, похлопали друг друга по плечам и по спине.

– Явился не запылился, – сказал Михаил Никанорович с оттенком превосходства над младшим двоюродным, усвоенным еще с детства. – Рад тебя видеть здоровым и невредимым. Каким образом оказался ты в краю нашего детства?

– Приехал из Москвы в служебную командировку. Узнал, что ты здесь валяешься, и почел, так сказать, долгом... Однако я вижу, что ты в отличном состоянии.

– На сей раз выкрутился. На днях выписываюсь. Это у меня уже второй. В третий раз вряд ли выскочу. А ты, Саша, выглядишь молодцом. Настоящим светилом отечественной науки. Вот уж никак от тебя этого нельзя было ожидать, судя по твоему громкому поведению и тихим успехам в гимназии.

– Ты всегда меня, Миша, недооценивал.

Бывший мальчик Саша присел рядом с двоюродным братом на скамейку и покосился на томик Пушкина:

– На старости лет почитываешь классиков?

– Да. Почитываю. Сегодня наткнулся на замечательное



письмо Пушкина к Чаадаеву. Между прочим, отчасти касается и нас с тобой.

– Именно?

– А вот послушай.

Михаил Никанорович взял книгу, поискал нужное место и заметил:

– Тут Пушкин полемизирует с Чаадаевым, который, как тебе, может быть, известно, был привержен к католичеству, к западничеству. Пушкин пишет, что он далеко не во всем согласен с Чаадаевым. Например, послушай-ка, что он пишет...

Михаил Никанорович поводит сморщенным носом по странице, нашел нужное место и прочитал:

– «Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отделила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

...Нашим мученичеством...

Михаил Никанорович на этом месте остановился и, блеснув стеклами пенсне, как-то очень значительно, по-докторски взглянул на двоюродного брата.

– Понимаешь, Саша, какое мученичество перенесла наша несчастная Россия еще в средние века, спасая европейскую цивилизацию!

– Вероятно, – сказал, вздохнув, Александр Николаевич, – это наша вечная историческая миссия – спасти человечество и его цивилизацию. Но будет ли в свою очередь человечество спасать нас – вот в чем вопрос!

– То-то и оно! – сказал Михаил Никанорович, назидательно подняв палец.

– Да, но какое имеет отношение к нам с тобой вся эта древняя история? – спросил Александр Николаевич, несколько утомленный разговором, не подходящим к обстоятельствам их встречи.

– Какое отношение? – укоризненно сказал Михаил Никанорович. – Да самое прямое! Ты вот послушай-ка, что дальше пишет Александр Сергеевич Чаадаеву:

– «...Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Хри-

стос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство... – Тут Михаил Никанорович несколько повысил голос: – Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Разговор двоюродных братьев возбудил любопытство ходячих больных, и они стали подходить поближе к скамейке. Обычно в госпиталях больные любопытны. Им хотелось узнать, кто пришел навестить генерала Синайского и о чем они разговаривают; не узнают ли каких-нибудь интересных новостей «с воли»?

– Пойдем, Саша, пройдемся по бульвару, проветримся, – сказал Михаил Никанорович, – а то здесь как-то душно и даже от деревьев и кустов пахнет карболкой. Запах, застоявшийся здесь еще с времен Пирогова.

– А тебе разве уже разрешается выходить на улицу, тем более в больничном халате?

– Я, Саша, сам себе врач и начальник. У нас тут нравы либеральные. Выздоровливающие частенько выходят на улицу

в лавочку за папиросами.

Михаил Никанорович взял под мышку томик Пушкина, и двоюродные братья пошли под душной тенью акаций с мелкой, уже слегка пожухлой листвой и сухими стручками, позолоченными послеобеденным сентябрьским солнышком.

Они шли по дорожке, усаженной по сторонам вялыми лиловыми, как бы вылинявшими ирисами, которые тут назывались петушками. Через калитку в каменной госпитальной стене они вышли на Пролетарский бульвар, некогда называвшийся Французским бульваром.

Дежурный вахтер в проходной будке – солдат-инвалид – не только их не остановил, но подтянулся «смирно» на своей деревянной ноге, откозырнул и выпустил их на бульвар.

– А тебя здесь, Миша, вижу, уважают, – сказал Александр Николаевич.

– А как же! Солдат из нашей дивизии. Вместе воевали. Потерял ногу под Керчью. Я ему ее там же в полевом госпитале под бомбежкой с воздуха и отрезал.

...Они прошли по бульвару вдоль длинной каменной оштукатуренной госпитальной стены, уже много раз крашенной водянистой розовой краской, сильно потертой, исцарапанной разными инициалами и непристойными надписями, затертыми и закрашенными блюстителем порядка.

Александр Николаевич выглядел еще молодцом в своей заграничной замшевой куртке на «молнии», хотя ему уже перевалило за пятьдесят, а Михаил Никанорович рядом с ним казался маленьким, хотя на вид и бодрым старичком в больничном халате.

Они оба были отпрысками некогда большой семьи вятского соборного протоиерея. У каждого из них имелась своя семья, взрослые дети и даже маленькие внуки от разных жен, с которыми их сыновья разводились. Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но все это как бы не шло в счет. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских. Они встречались редко и не переписывались. В семействе Синайских по древней привычке как-то не было принято переписываться. Одна только сестра Михаила Никаноровича Лизавета Никаноровна аккуратно писала всем родственникам, жившим в разных городах, и держала их постоянно в курсе семейных дел. Но ни ее, ни других родственников, кроме двоюродных братьев, не было уже на свете.

С моря сквозь умирающие, сады бульвара потягивало грустным ветерком.

– А помнишь, Саша, наши детские катавасии? Заметь се-

бе, что вместе с христианством слово «катавасия» попало к нам из Греции и обозначает в переводе на русский язык не что иное, как снисхождение или нечто в этом роде. Слово поповское. Значит, мы с тобой с раннего детства, так сказать, с младых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана.

– Я этого не подозревал.

– Мы многого не подозреваем, а между тем наш общий с тобой дедушка был священник, и наша общая бабушка была попадья, и не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства.

...Двоюродные братья представили своего дедушку, которого видели только на маленьком провинциальном дагерротипе, – бородатого, чем-то напоминающего Салтыкова-Щедрина, но только не в сюртуке, а в обширной рясе с широкими рукавами, с наперсным крестом, с грозными глазами, сидящего рядом со своей маленькой попадьею в тяжелом шелковом платье и кружевной наколке на голове, а позади них стояли три сына-семинариста, из которых старший был уже слегка бородат.

Протоиерей вятского кафедрального собора отец Никанор Синайский скончался в 1871 году, едва дожив до пятидесяти лет, от какой-то странной болезни, поразившей коленную чашечку правой ноги. Была ли это простуда, или кост-

ный туберкулез, или еще что-нибудь тогда еще неизвестное в медицине, никто не знал. Тогдашние вятские лекари лечили воспалившуюся коленную чашечку прижиганием добела раскаленным железом, да так и не вылечили.

После смерти протоиерея остались вдова-попадья и трое сыновей. Покойный желал видеть их священниками, имеющими власть претворять хлеб в тело Христово и вино в его кровь. Такова была древняя семейная традиция рода Синайских. Однако все трое сыновей избрали деятельность не духовную, но светскую. Православие на Руси в то время уже клонилось к упадку.

Правда, старший из сыновей, Никанор Никанорович, после окончания семинарии поехал в Москву, в Троице-Сергиеву лавру, где окончил духовную академию, но сана не принял, в монахи не постригся, церковную карьеру себе не сделал, в архиереи не вышел, а отправился на жительство в южнорусский город Одессу, где стал преподавателем, а вскоре и инспектором классов в семинарии – еще старой семинарии, так как потом было выстроено здание новой семинарии.

Его примеру последовали братья. Окончив вятскую семинарию, они один за другим – средний брат Николай и младший Яков – также переселились в Одессу, взяв с собой мать.

Таким образом, вятское гнездо Синайских опустело навсегда.

Средний Синайский окончил в Одессе Новороссийский университет по историческому отделению филологического факультета с серебряной медалью, но ученую карьеру не избрал, а стал простым педагогом, преподавателем истории и географии в женском епархиальном училище, а также в школе десятников при императорском техническом обществе, обучая рабочих-строителей русскому языку, в чем отчасти видел свой гражданский долг просвещать простой народ.

Младший сын покойного протоиерея Яков Никанорович также окончил Новороссийский университет, но физико-математический факультет и с золотой медалью, что было величайшей редкостью, так как физико-математический факультет считался самым трудным. Золотая медаль сулила младшему Синайскому блестящую будущность, быть может, даже великого русского ученого вроде Менделеева...

Все эти события происходили в последней четверти девятнадцатого века, еще до рождения двоюродных братьев, которые хотя и родились тоже еще в девятнадцатом веке, но только в самом его конце. Мальчик Миша был последним в семье Николая Никаноровича, а мальчик Саша первенцем в семье Николая Никаноровича, женатого на дочке отставного генерала.

Почему же после смерти протоиерея семья Синайских пе-



реселилась из Вятки на юг России, в Одессу?

В то время Одесса была самым молодым из весьма немногих университетских городов Российской империи. В Новороссийский университет легче было попасть. Кроме того, Одесса славилась дешевой жизнью, Черным морем, целебными лиманами, морскими ваннами и многим другим, чего не было в северных университетских городах... Что же касается младшего сына протоиерея, то из разговоров взрослых двоюродные братья составили себе о нем представление как о человеке необыкновенном, странном и тяжело больном, живущем почему-то не в Одессе, а в Николаеве с женой, простой, неграмотной крестьянкой, о которой говорилось с каким-то грустным неодобрением как о падшей женщине. Но что такое падшая, мальчишки представляли себе буквально, что она куда-то упала, откуда дядя Яша ее вытащил и потом на ней женился, и она тоже стала Синайская.

Впоследствии все это разъяснилось.

Блестяще окончив университет, Яков Никапорович написал научный труд о движении какой-то кометы – кажется, Биеллы, – вычислив с большой точностью ее орбиту. Работа эта принесла ему чуть ли не всероссийскую известность как выдающемуся математику и была размножена в университетской типографии на стеклографе со множеством цифр,

алгебраических формул, чертежей эллипсообразной орбиты кометы Биелла. Двоюродные братья видели пожелтевшие от времени экземпляры научного труда дяди Яши с фигурами небесного движения загадочной кометы. Экземпляры печатного труда лежали в чулане квартиры, где жил со своими папой и мамой младший из двоюродных братьев, Саша Синайский.

Неизвестно по какой причине Яков Никанорович поступил на военную службу, был произведен в подпоручики и числился в Четырнадцатой артиллерийской бригаде, расквартированной в городе Николаеве. Его странный поступок объяснялся тем, что он вдруг почел своим нравственным, христианским и гражданским долгом принести в армию, в ее захолустную, консервативную и даже реакционную атмосферу, дух просвещения и гуманизма, воспитывать в нижних чинах человеческое достоинство, самосознание, «бросать в почву семена просвещения, вселять в души дух христианства» или что-то в этом роде, нечто мессианское.

Это, возможно, был поздний отзвук декабризма, связанный с именем полковника, кажется, Адельберга, последнего из уцелевших на юге декабристов.

Тогда еще двоюродных братьев не было па свете, и до них эти слухи дошли уже гораздо позже.

...Двоюродные братья шли по бульвару, где на другой

стороне стояли странные громадные ворота в мавританском стиле, через которые можно было выйти к обрывам. Вилла, некогда принадлежавшая какому-то богатому негоцианту, не сохранилась. Через эти ворота, существовала легенда, выходил к морю молодой изгнанник Пушкин.

Двоюродные братья с привычным уважением смотрели на эти громадные черные ворота и представляли себе курчавого молодого человека, одетого по моде девятнадцатого века в узкий сюртучок и байроновский плащ, того самого знаменитого Пушкина, который в конце своей жизни написал Чадаеву:

«Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».

Повторив эти пушкинские слова, Михаил Никанорович засмеялся и сказал двоюродному брату, продолжая начатый еще в госпитальном саду разговор:

– Понимаешь, Саша: «Оно носит бороду, вот и все». Коротко и ясно. «Оно не принадлежит к хорошему обществу». Ну что ты на это скажешь? Ведь у нас с тобой общий дедушка – бородатый протоиерей, и если наши отцы, его сыновья, не стали священниками, то, во всяком случае, они тоже еще носили бороды, правда уже немного постриженные. Но в так называемое хорошее, то есть дворянское, общество при ста-

ром режиме приняты все-таки не были. Если и были, то с трудом. А мы с тобой уже гладко выбриты и принадлежим к хорошему обществу, уважаемы и даже награждены почетными званиями: ты член-корреспондент, я генерал медицинской службы, хотя уже в отставке и на пенсии.

Глядя на мавританские ворота, они представляли себе картину:

«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин».

Еще в гимназические годы они видели в городской картинной галерее большое полотно, созданное двумя знаменитыми художниками: штормовое Черное море и прибрежную скалу, написанные Айвазовским, и фигуру Пушкина в развевающемся плаще на фоне этой скалы, написанную Репиным.

«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин»...

Они дошли до угла и свернули на Пироговскую улицу, вдоль которой тянулась все та же госпитальная стена.

– А ты, Саша, помнишь дядю Яшу? – по какой-то странной ассоциации мыслей спросил Михаил Никанорович, медленно шагая вдоль больничной стены. – Я его почти не пом-

ню.

– А я хорошо помню, – ответил Александр Николаевич. – Однажды ранним утром у нас раздался звонок дверного колокольчика, и потом в комнату вошел дядя Яша в коротеньком пиджачке. В руках он держал узелок со своими пожитками. Оказалось, он только что приехал на пароходе из Николаева. У него было измученное, доброе, как бы я теперь сказал – Достоевское, лицо. Он сел посреди нашей маленькой гостиной в старое плюшевое кресло и зарыдал. Я не мог этого вынести и тоже заплакал, а потом меня увели в другую комнату.

...– Дядю Яшу отвезли в городскую больницу, куда мой папа ездил его навещать и один раз взял с собой меня. Мы проехали на конке почти через весь еще незнакомый мне город и вышли на остановке как раз против городской больницы. Я увидел огромный желтый дом с белыми колоннами. Этот дом мне сразу чем-то не понравился, даже испугал. В этом доме, пропахшем всеми больничными запахами, в очень большой серой комнате, уставленной железными кроватями, на которых лежали и сидели больные в темных халатах, я увидел дядю Яшу, тоже в халате земляного цвета, из-под которого высывались бязевые подштанники с тесемками. Перед ним на табурете, выкрашенном рыжей масляной краской, стояла жестяная тарелка с рисовыми котлетами под черносливовой подливкой.

...— Дядя Яша был похож на моего папу, только намного моложе, но с неряшливой, видно, давно уже не подстригавшейся бородкой и усами, мокрыми от черносливовой подливки. У него были пугающие глаза. Все это вселило в меня чувство ужаса. Папа обнял дядю Яшу, и они поцеловались...

...— Через несколько дней дядю Яшу привезли к нам на извозчике и устроили на старом диване в гостиной между фикусом в зеленой кадке и пианино. Другие комнаты были заняты. В одной жили мы с папой и мамой; моя кровать стояла между двумя железными кроватями моих родителей. И там же находился комод, на котором всю ночь горел маленький керосиновый ночник в красном желатиновом абажурчике. В последней комнате находилась столовая, где за бамбуковыми ширмами жила вятская бабушка, маленькая молчаливая старушка. Нашу маленькую, дешевую квартиру наполнил больничный запах.

...— Папа снял с себя сюртук с шелковыми лацканами и, оставшись в одном жилете с синей металлической пряжкой сзади, стал ухаживать за дядей Яшей. А когда папа уезжал на уроки, то за дядей Яшей ухаживала моя мама, тогда еще живая.

...— Ты помнишь свою тетю, а мою покойную маму?

...— Она была дама в пенсне и кормила дядю Яшу яйцами всмятку: желточек тек по дядиной бороде.

Иногда в гостиной у дядиноного дивана появлялась, выйдя из-за своих ширм в столовой, вятская бабушка-попадья, мать дяди Яши. Маленькая, кругленькая, как просфорка, со слезами на испуганных глазах, она жалостливо смотрела на своего младшенького, гладила его волосы, мелко крестила его и спрашивала, не воспалилась ли у него коленная чашечка. Она до сих пор не могла пережить смерть своего супруга, кафедрального протоиерея, помутившую ее детский ум, и она все время думала, что воспаление коленной чашечки, прижигаемой каленым железом, приносит смерть всем людям.

От нее сухо пахло старыми, залежавшимися шерстяными платьями, застоявшимся запахом кадильного ладана, принесенного ею из вятского кафедрального собора. Потом она так же незаметно исчезала и скрывалась в столовой за бамбуковыми ширмами.

...— Дядя Яша уже не вставал, и под него приходилось подкладывать фаянсовый подсов, что мама делала решительно и мужественно.

Он лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал.

Я боялся входить один в гостиную потому, что при виде меня дядя Яша с трудом приподнимался и с ловкостью сума-

шедшего попытался схватить меня своими исхудавшими руками, норовил пощекотать меня и ласково смотрел на меня, своего маленького племянника, добрыми, но ужасными глазами. Он пытался выговорить мне что-то доброе, родственное, но язык ему уже не повиновался и он только невразумительно мычал.

Через несколько дней рано утром он вдруг захрипел, перестал шевелиться и умер на руках у папы, который был уже в сюртуке и собирался ехать на уроки. Папа закрыл веки его открытых неподвижных глаз мягким движением большого пальца и положил на закрытые веки по медному пятаку. Два черных пятака на закрытых веках стали для меня с тех пор символом смерти.

...— В гостиной стало еще теснее, так как туда принесли гроб, поставили его на стол и переложили в него дядю Яшу, обряженного уже в сюртучок. Гроб стоял по диагонали к стенкам гостиной, оклеенным светленькими обоями с потертыми серебряными лилиями.

...— Дальше я мало что помню. В памяти сохранились только траурные ризы священников и много родственников Синайских, пришедших на панихиду и на вынос тела.

...— Смерть дяди Яши была предзнаменованием другой смерти в нашей квартире. Вскоре от воспаления и отека лег-



ких умерла моя мама. А за несколько месяцев до ее смерти родился мой родной и твой двоюродный братик Жоржик, тот самый Георгий Николаевич Синайский, который во время Великой Отечественной войны погиб в Севастополе...

– Пстой, – сказал Михаил Никанорович, – погоди... Мы идем слишком быстро. Мне трудно. Давай передохнем, постоим минуточку! У меня, кажется, опять не в порядке сердечные делишки.

Они остановились возле все той же госпитальной стены, уходящей теперь далеко в сторону недавно восстановленного здания штаба, разбомбленного немцами.

За белым корпусом штаба угадывались уже совсем на себя не похожее Куликово поле и вокзал без паровозных дымов, а еще дальше – предзакатное небо и голубые купола бывшего Афонского подворья.

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене с выцарапанным сердцем со стрелой и чьими-то инициалами, достал из кармана халата пробирочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок и привычным движением положил их в рот под язык. Вскоре его опасно помертвевшее лицо с посиневшими веками оживилось, даже порозовело.

– Ну, теперь я в порядке, – сказал он, стараясь казаться бодрым, – можем гулять дальше. Но ты меня, Саша, расстроил, вспомнив о Жоре. Ведь я был когда-то на его крестинах.

Его крестили не в церкви, а дома, в вашей маленькой квартире, в той самой гостиной, где до этого стоял гроб с дядей Яшей, а вскоре и гроб твоей мамы, а моей тети.

– Да, – сказал Александр Николаевич, – я тоже помню, как из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды, и священник взял из рук крестной матери голенького Жорочку с зажмуренными глазками, ловко прикрыл его сморщенное личико крупной опытной ладонью и трижды окунул с головой в купель. Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется, но все обошлось благополучно...

– ...если не считать, – сказал Михаил Никанорович, – что Жорочка напустил струю на атласное платье своей крестной матери.

Двоюродные братья немного посмеялись. Александр Николаевич вспомнил:

– А потом был завтрак для гостей и причта, и я впервые в жизни, попробовал маленький маринованный грибок боровичок, с большим трудом насадив его скользкую багровую шляпку на вилку. И я видел, как дьякон опрокинул в свою волосатую разинутую пасть рюмку водки...

Александр Николаевич грустно покачал головой.

– А теперь Жора лежит в братской могиле, и его имя и фамилия выбиты в ряду с другими именами на белой мраморной доске... А мы с тобой, Миша, уцелели. Михаил Никанорович поправил пенсне на своем галльском носу

и еще больше стал похож на французского академика.

– Ну, я уже в порядке, – сказал он, как бы не желая продолжать слишком грустный разговор, – можем шагать дальше. Только, умоляю, не шагай так быстро, пожалей больного медика.

Они неторопливо тронулись по Пироговской улице вдоль госпитальной стены, как бы сопровождаемые видениями прошлого, которые в разных формах возникали из этой стены и сопровождали их.

...Железная кровать с медными шариками, на которой лежало тело только что умершей матери Александра Николаевича, тогда еще шестилетнего мальчика Саши. Она лежала, склонив голову с закрытыми навсегда глазами, черноволосая, совсем не похожая на даму, а скорее на девушку-русалку, покрытую легким одеялом, а на тумбочке рядом с кроватью теплилась зажженная Николаем Никаноровичем лампадка, распространяя слабый запах оливкового масла...

...в квартиру вносили новый гроб, пахнувший сырими сосновыми досками. Приходили и уходили разные люди, большей частью Синайские и какие-то незнакомые семинаристы. Из не закрывавшихся целый день входных дверей тянуло с улицы сквозняком. Внесли венок с белыми муаровыми лентами, на которых были наклеены черные лакированные печатные буквы, составлявшие какие-то печальные сло-

ва. В передней зеркало было закрыто простыней, чтобы в нем не отразилось лицо покойницы, когда ее будут выносить.

...Николай Никанорович снял с пальца покойной жены золотое обручальное кольцо и положил его рядом с лампадкой. Не зная, что теперь надо делать, он ходил из комнаты в комнату с розовыми от слез глазами. Он был ошеломлен своим неожиданным вдовством. Маленький Саша ходил рядом с ним, держась за его руку в крахмальной манжете. А новорожденный Жора кричал в руках у кормилицы, отворачиваясь от ее большой, как вымя, груди с коричневым соском, из которого капало молоко...

...Этот же самый Жора через сорок лет в пропотевшей гимнастерке, порванной осколками разорвавшегося снаряда, лежал возле своего орудия лицом в испеленную землю...

...И еще какие-то видения все время сопровождали двоюродных братьев, как будто бы возникая из госпитальной стены.

Они молчали, но в их молчании заключалось больше, чем в словах; в нем присутствовали полузабытые события общего прошлого, оставляя после себя душевную боль навсегда утраченных событий, в том числе видение наемной свадебной кареты, в которой везли к венцу розовую от волнения красавицу с собольими бровями, одну из старших сестер

Михаила Никаноровича, Елизавету, Лизу, а напротив с иконой в руках сидел на скамеечке свадебный мальчик в бархатном костюмчике, двоюродный братик невесты Жора.

Да, тот самый Жора!

Двоюродные братья вспомнили самого старшего из сыновей протоиерея Синайского, отца Михаила Никаноровича, Никанора Никаноровича Синайского.

Он был солидный господин в форменном сюртуке духовного ведомства. Сквозь хорошо ухоженную, уже не поповскую, а светскую каштановую раздвоенную бороду просвечивал вишневым эмалевым орденом святой Анны на алой орденской ленточке.

Никанор Никанорович как бы царствовал в своей большой казенной квартире в здании старой семинарии, где имелись кафельные печи с хорошо начищенными выюшками. Эти печи зимою топились казенными дровами, которые приносил из сарая семинарский истопник.

По сравнению с маленькой квартиркой своего брата Николая Никаноровича квартира старшего Синайского поражала воображение маленького Саши множеством комнат, богатством, как казалось мальчику, обстановки и непривычным видом паркетных полов, их почти зеркальным блеском и запахом желтой мастики, которой эти полы натирали полотеры. Непривычен был также запах табачного пепла, зале-

жавшегося серебристо-сиреневыми горками внутри тропических рогатых раковин. Подобные пепельницы обычно находились в богатых квартирах, в приемных зубных врачей и у адвокатов.

Присутствовал также тревожащий запах дамской пудры, цветочного одеколona и вина, совсем незнакомый и даже враждебный маленькому Саше. Его отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вел скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложенной за икону. Смиренно крестясь, и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника.

Семейство Никанора Никаноровича было большое, в нем имелись двоюродные сестры и братья Саши – родные братья и сестры Миши. Но Саша и Миша в сравнении с ними выглядели совсем малышами. Все эти многочисленные братья и сестры – родные и двоюродные – родились и выросли еще до появления на свет божий двоюродных братьев Миши и Саши. Некоторые из них были уже студентами или курсистками.

...Мальчики с завистью и уважением смотрели на синие стоячие воротники студенческих мундиров и на маленькие, уже почти дамские шляпки курсисток...

Семья Никанора Никаноровича была дружная. Днем большая квартира пустовала: все, кроме Миши и его матери, находились кто в университете, кто на курсах, кто в семинарии на уроках, так что маленькие двоюродные братья были полными хозяевами квартиры и свободно ходили из комнаты в комнату, разглядывали и трогали руками разные запрещенные вещи, а в передней смотрелись в большое зеркало, делали гримасы и примеряли разные шляпы, шапки и фуражки. Они до того осмелели, что однажды даже проскользнули в кабинет Никанора Никаноровича и стали рыться в ящиках письменного стола, где, кроме папирос и сигар, обнаружили медные наперсные кресты на орденских лентах, которыми Миша очень хвалился и говорил, что это боевые отличия дедушки и прадедушки. Оказывается, священники тоже участвовали в войнах и были награждены за боевые отличия, но не орденами, а наперсными крестами разных степеней.

Один медный крест на анненской ленте принадлежал вятскому дедушке, награжденному во время несчастной севастопольской кампании за религиозно-пастырскую, патриотическую проповедь среди ополченцев, формировавшихся в Вятской губернии.

Другой наперсный крест – почерневший от времени, как бы даже оплывший, на строгой владимирской ленточке, черно-красной, – принадлежал прадеду или даже прапрадеду, награжденному за Бородинское сражение достославного

двенадцатого года.

Мальчики надевали на шею эти кресты, воображая себя героями священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством.

Они уже с детства были готовы сражаться за родину

В утренние часы в распоряжении разыгравшихся мальчиков находились все комнаты квартиры, кроме той маленькой комнатки, где лежала одиннадцатилетняя сестра Миши, медленно умиравшая от костного туберкулеза, поразившего коленную чашечку ее правой ноги. Иногда в полуоткрытую дверь ее комнатки мальчики видели фи-<sup>Г</sup>УР<sup>КУ</sup> зловеще исхудавшей девочки с острым носиком, ее прозрачно-белое личико, ее ночную сменную сорочку, а иногда забинтованное колено, когда она, прыгая на одной ноге, перебиралась с кровати к подоконнику, где лежали книжки, которые она читала, и стояли пузырьки с лекарствами.

Она была так мало заметна, так ничтожно мало занимала места в мире, что как бы уже совсем не существовала в квартире, где бегали здоровые мальчики с дедовскими наперсными крестами на груди, опрокидывая стулья, изображая Бородинское сражение.

«...Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга!  
Постой-ка, брат мусью!...»



Распаленные патриотизмом, они называли друг друга презрительно «брат мусью».

На второй день пасхи или на третий день рождества дом наполнялся всеми Синайскими – студентами, курсистками, гимназистками в клетчатых форменных платьях частных женских гимназий и белых передниках, а также гостями, среди которых были знакомые священники в парадных муаровых рясах с подвернутыми широкими рукавами, с расчесанными гривами волос, источавших аромат розового масла и росного ладана. В столовой раздвигался длинный обеденный стол, появлялись закуски, тра-финчики, чарочки, бутылки рябиновой и французского мускат-люнеля. После обеда гости садились за ломберные столы играть при свечах по маленькой.

Раздавался веероподобный треск карточных колод, и чей-нибудь основательный протодиаконский бас произносил «пикендрясы» или что-нибудь подобное из картежного жаргона.

Мальчики лазали под елку, чувствуя себя там как бы в чаще дремучего леса, дыша скипидарным запахом хвои и слушая тонкое позванивание елочных украшений, шуршание бумажных цепей.

Выползая из-под елки, они перебирались под ломберные столы, лазали по чужим ногам и подбирали обломки мел-

ков, которыми игроки записывали на зеленом сукне странные цифры каких-то ремизов, имеющих таинственное значение.

Эти кабалистические знаки на сукне потом стирались особыми круглыми щеточками: из-под них поднимались облачка меловой пыли, заставлявшей чихать.

Судя по пряному, острому запаху, игроки во время игры попивали чай с ромом, называемый пуншиком, а также красное вино удельного ведомства. Игроки курили папиросы и сигары. Табачный дым, смешанный с ароматом пуншика, волновал мальчиков, особенно Сашу Синайского, росшего в трезвом доме, где пахло только оливковым маслом от лампадки перед иконой. Николай Никанорович чувствовал себя в гостях у старшего брата не по себе.

Чаще всего по вечерам он сидел со своей тогда еще не покойной, а живой, страстной, оживленной, горячо любимой женой за пианино, и они играли в четыре руки Чайковского или Рубинштейна. Раскрытые ноты освещали две свечи в мельхиоровых подсвечниках, закапанных стеарином.

Такое же пианино было в казенной квартире старшего Синайского, но только костяные клавиши у него сильно пожелтели от времени и одна из педалей западала, что как бы утверждало старшинство Никанора Никаноровича, чином статского советника, над своим братом Николаем, еще только надворным советником.

Нечто китайское чувствовалось в квартире Никанора Никаноровича. Но в чем заключалась эта китайщина, маленькому Саше было тогда непонятно. Лишь через очень много лет, почти что через полвека, попав по академической командировке в Пекин, бывший мальчик Саша ощутил нечто подобное в квартире одного из китайских профессоров: громоздкие стулья черного дерева с неудобно прямыми – слишком прямыми – высокими спинками с вделанными бело-черно-мраморными досками, заменившими кожу. Твердые, неудобные сиденья были слишком высоки, так что ноги едва доставали до пола.

...И разросшиеся фикусы в кадках...

У братьев Синайских тоже стояли в гостиной кадки с фикусами: у младшего один фикус, а у старшего два уже сильно разросшихся, ветвистых, с новыми побегами на отростках веток, висящими как сафьянно-красные колпачки-чехольчики. В этих чехольчиках было тоже что-то очень китайское, пекинское, профессорское.

Стулья с высокими неудобными сиденьями и сафьяновые колпачки на ветках фикусов были родственны цибикам. Цибиками назывались деревянные ящички с чаем, хранившиеся в буфете. Цибики были оклеены бумагой с напечатанными разноцветными картинками, изображавшими сцены из ки-

тайской жизни: узкоусые мандарины в шапочках с шариком, желтолицые китайянки с веерами, уличные торговцы, рикши, катящие легкие свои коляски на двух высоких колесах, тигры, драконы...

Цибики с первосортным китайским чаем привозили знакомые офицеры и полковые священники с Дальнего Востока на пароходах добровольного флота. Внутри цибики были выложены свинцовой оболочкой для того, чтобы чай не портился во время перевозки через океаны.

Кроме запаха жасмина, чай из цибиков еще не отдавал свинцом.

...Свинцовый запах китайского чая. Запах войны...

Дальний Восток присутствовал в сознании жителей России. Все время кто-то уезжал на Дальний Восток. И это тревожило.

На Дальний Восток уезжала самая старшая из сестер Миши, красавица Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача, окончившего Военно-медицинскую академию, человека с большой будущностью по фамилии Виноградов. Надя, бывшая Синайская, а теперь Виноградова, вместе с мужем и новорожденной дочкой Аллочкой уезжала через Одессу на Дальний Восток, где должен был несколько лет

прослужить Виноградов: это давало большие преимущества при дальнейшем прохождении службы.

Обе семьи Синайских собрались на причале карантинной гавани, откуда отходил на Дальний Восток пароход добровольного флота «Тамбов».

Двоюродных братьев Сашу и Мишу тоже взяли на провозы Виноградовых. Мальчики с восхищением смотрели на пароход, стоявший у причала, куда в это время грузили полковых лошадей. Пароход казался огромным. По трапу, мерно топая сапогами, шли солдаты в походном обмундировании. Пристань была завалена прессованным сеном. Военный оркестр, блестя медными трубами, играл марш «Тоска по родине». У солдат через плечо были надеты шинели в скатку.

Провожавших не пускали на пароход. Они стояли на пристани возле черного борта парохода, высокого, как дом, с круглыми иллюминаторами вместо окон. Из желт трубы уже валил каменноугольный дым. Заглядывая иллюминатор, мальчики видели часть очень тесной каюты, заваленной круглыми шляпными коробками и дорожными вещами, где уже размещалась Надя с мужем и грудной девочкой, завернутой в одеяльце. Надин муж Виноградов снимал через голову серебряный ремень офицерской шашки с темляком и фуражку с бархатным околышем военного врача. Надя суежилась. Она была еще в шляпе с вуалью. Девочка среди баулов и пакетов лежала смиренно. Трудно было представить, как они

устроятся в этой тесноте. А ведь им предстояло проплыть почти месяц – через Суэцкий канал, по Красному морю, по Индийскому океану, мимо сказочного острова Цейлона, потом, может быть, через Китайское море, через Цусимский пролив, мимо Японии, – прежде чем они достигнут Дальнего Востока. Как переживет это долгое путешествие грудная девочка, такая крошечная в своих кружевных пеленках?

...Мальчики еще смутно знали географию...

Визжали паровые лебедки, как бы выговаривая «тирли-тирли-тирли». Они грузили в пароходные трюмы уголь и сено. Угольная пыль смешивалась с трухой сена и со звуками духового оркестра.

Пароход, заваленный разными грузами, оседал ниже ватерлинии. Он был так громоздок, тяжел, неуклюж, что, казалось – никогда не сдвинется с места.

Но вот раздался густой бас трехкратного пароходного гудка. У провожающих заложило уши, и перестал слышаться оркестр, одно только буханье турецкого барабана. Борт парохода со всеми своими иллюминаторами, в одном из которых показалась голова Нади уже без шляпки и узкие погоны ее мужа, начал медленно, почти незаметно отделяться от пристани. На том месте, где только что чернела стена парохода, образовалась щель, и в глубине – зеленая рябь морской воды.

Больше всего волновало мальчиков, что пароход увозит

бог весть в какую даль их крошечную племянницу Аллочку.

– Ты помнишь нашу Аллочку? – спросил Михаил Никанорович.

– Конечно, – ответил Александр Николаевич, – но какая ужасная судьба!

Они снова на минуту остановились посередине Пироговской улицы и представили себе Аллочку в разные периоды ее жизни:

сначала грудным ребенком, которого под звуки военного оркестра увозили на Дальний Восток... Потом уже значительно позже, когда родители, возвратившиеся в Петербург, привозили ее летом в Одессу на лиманы. Тогда ей было уже лет десять. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но ужасно мила и обращала на себя внимание – нарядно одета, с большим шелковым бантом сзади, таким же ярким, алым, как и ее имя.

...Всегда приветливая, вежливая, хорошо воспитанная, казавшаяся даже красивой, несмотря на несколько веснушчатый носик в породе швейцарской бабушки. Она всегда привозила своим провинциальным кузенам коробки шоколадных конфет, перевязанные шелковыми бантами. «Шоколад от Крафта».

У нее уже был братик Тося.

Их семья снимала на лето дачу на Хаджибеевском лимане, где процветала игра в крокет: ловко крокировав третий крас-

ный и мило наступив белым башмачком на дубовый шарик – второй черный, – Аллочка весело ударяла по шарикку крокетным молотком с двумя черными полосками, и другой шарик катился по хорошо утрамбованной площадке, проскакивал сквозь проволочную дужку и, к общему веселью, застревал в проволочной мышеловке, так называемом масле.

...За ней ухаживали дачные гимназисты и даже один малорослый, но коренастый кадетик в холщовой косоворотке с красными погонами, который называл Аллочку столичной штучкой.

...Она рассказывала о петербургской жизни и о своем отце, военном враче, известном рентгенологе... Она рассказывала, что когда папа и мама ездили в Мариинский театр на балет или на оперу, то папа переодевался в штатский костюм, потому что все офицеры, присутствующие в Мариинском театре на спектакле, обязаны были по приказу военного коменданта стоять в антрактах у своих кресел в партере, повернувшись лицом к царской ложе, на тот случай, если государь император появится в театре, что бывало довольно часто...

Все предвещало Аллочке счастливую жизнь. Уже после революции, в двадцатых годах, она неожиданно вышла замуж по любви за молодого остзейского захудалого барончика, бывшего лицеиста фон Воюцкого, не тронутого революцией.



Михаил Никанорович, бывший Миша Синайский, к тому времени давно уже ставший петербургским, а потом и петроградским жителем, отзывался об Аллочкином муже, остзейском барончике, с иронией, удивляясь выбору Аллочки: красавчик, белоподкладочник, прибалтийский типчик с римским носом, прямым пробором до самого затылка, из числа тех, что в большом числе завелись в Санкт-Петербурге, наехав туда еще во времена Петра Великого.

Считалось, что брак этот очень удачен, и если бы не революция, то правнучка вятского соборного протоиерея стала бы баронессой фон Воюцкой. Но случилось все по-другому: неожиданно, непонятно и трагично.

Однажды Аллочка утром не проснулась. Она лежала неподвижная, в ночном кружевном чепчике, с закрытыми глазами и губами еще более белыми, чем ее гипсово-белое лицо, ничего уже не выражающее. На ночном столике стоял стакан с наполовину выпитой водой, а рядом открытая опустошенная коробочка от сильного снотворного. По комнате метался в ночной пижаме фон Воюцкий.

Аллочка была мертва и уже похолодела. Она не оставила никакой записки. Причина ее самоубийства так до сих пор осталась невыясненной. Некоторые считали, что это случилось, как тогда было принято говорить, на романической подкладке.

Михаил Никанорович считал виновником фон Воюцкого. Но, как говорится, горе не приходит одно. Вскоре умер

отец Аллочки доктор Виноградов. Как многие рентгенологи того времени, он умер от рака, оставив жену и сына Тосю одних в большой опустевшей квартире недалеко от Невского проспекта.

Невский проспект уходил прямой перспективой пятиэтажных домов, начинаясь от Николаевского вокзала, от конной статуи императора Александра III, сидящего на толстой лошади и самого толстого, в кубанской казачьей барашковой шапочке, с грубым лицом пьяницы – железнодорожного кондуктора или городского.

Про этот памятник работы Трубецкого ходила эпитаграмма:

«Стоит комод. На комодe бегемот. На бегемоте обормот».

Петрокоммуна приделала к памятнику доску со стишком Демьяна Бедного:

«Твой сын и твой отец при жизни казнены» – и т. д.

Невский проспект тянулся до самого Адмиралтейства с его золотой иглой, на вершине которой в тучах плыл кораблик флюгера. А посередине перспективы Невского проспекта стояла пожарная каланча с коромыслом, на которое иногда поднимались черные шары пожарной тревоги.

У подножия пожарной каланчи Петрокоммуна поставила бюст Лассалья, высеченный из светлого гранита: декоративно

повернутая голова на длинной шее. Некоторое время романтический революционный бюст украшал Невский проспект, но вскоре был снят, так как историки открыли подозрительную связь Лассаля с Бисмарком.

Михаил Никанорович говорил, что в его время в Петрограде на Невском проспекте еще была деревянная торцовая мостовая, заглушавшая грохот уличного движения. Во время наводнений деревянные торцы всплывали.

...«И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен»...

Овдовевшая Надежда Никаноровна поступила медицинской сестрой в госпиталь, где работал ее покойный супруг, а ее сын Тося, еще совсем юный, бежал через финскую границу, как тогда говорили, «по ту сторону щели». Больше о нем ничего не было известно.

После убийства Кирова Надежда Никаноровна попала в черный список и была выслана из города, и след ее затерялся в каком-то глухом сибирском городе, а может быть, и на Дальнем Востоке, куда ее вторично занесла судьба, но уже не на пароходе добровольного флота, под звуки военного оркестра, как некогда, в счастливые годы ее замужества и материнства.

Все эти события, как бы размытые временем, в один миг возникли в воображении двоюродных братьев из длинной, как жизнь, госпитальной стены, вдоль которой они продолжали идти, стены Пироговского госпиталя, исцарапанной, полинявшей от времени.

– Можно подумать, что злой рок висит над семьей Синайских, – сказал Михаил Никанорович.

В эту минуту ему представилась Аллочка, ее необъяснимое самоубийство и ее муж с прямым пробором до самого затылка, его медно-красные волосы, его пенсне со стеклами без ободков, его римский нос питерского красавчика.

– Представь себе, Саша, – сказал Михаил Никанорович с тяжелой одышкой, – совсем недавно я встретил этого типа – и где же, ты думаешь? На бульваре возле «Отрады». Каким образом уцелел и как он очутился в Одессе – непонятно. Он шел хромя, старый, седой, опустившийся, одетый в какое-то старье. Но я его узнал, остановил и сказал: «Здравствуйте, фон Воюцкий». Он посмотрел на меня и тоже узнал. У него на продавленном носу сидело все то же пенсне со стеклами без ободков. Одно стекло было с трещиной. Он сердито, но испуганно посмотрел на меня и сказал ворчливо: «Не фон, не фон, а просто Воюцкий. Никакого фона больше нет». С этими словами он повернулся ко мне потертой спиной и заковылял дальше, опираясь на палку с резиновым наконечником. Кажется, у него уже начиналась перемежающаяся хромота. Несчастливая Аллочка!...

Семья старшего Синайского, Никанора Никаноровича, была зажиточна, даже богата, но вдруг обеднела, стала почти нищей по причине тяжелой болезни, а вскоре и смерти Никанора Никаноровича.

...Госпитальная стена все продолжалась и продолжалась, бесконечно длинная, как бы ведя двоюродных братьев в туманное прошлое, в то тягостное время, когда семье Никанора Никаноровича пришлось расстаться с большой казенной квартирой. Их переселили в маленькую темную квартирку рядом с подворотней.

Тень нищеты, почти всегда связанная с тенью смерти, упала на семейство старшего Синайского. Его кончина не была неожиданностью. Он умирал от паралича, развивавшегося не слишком быстро, как бы даже незаметно. Никанор Никанорович постепенно сходил с ума. И вот в один ужасный день за ним приехала больничная карета-фургон. На глазах у мальчиков два санитар в грубых халатах и солдатских сапогах вынесли полуодетого Никанора Никаноровича из дома на улицу. Старший Синайский порывался вырваться из рук санитаров. У него было истощенное лицо с неряшливой бородой и веселые глаза. Он неестественно странно улыбался блаженной улыбкой, размахивал руками, как бы дирижируя неким церковным хором, и громким голосом пел «Со святыми упокой!».

Уличные прохожие останавливались, глядя на это страшное зрелище.

Невозможно было представить, что еще сравнительно недавно Никанор Никанорович с картами в руках сидел за ломберным столом в форменном сюртуке, в туго накрахмаленной сорочке, в манжетах с золотыми запонками и орденом святой Анны на шее.

Вскоре Никанор Никанорович скончался в больнице. Для его семьи наступили тяжелые дни. Все это легло на плечи его жены, которой нужно было кормить и воспитывать детей.

Судьба вдовы покойного была странной. Она была швейцарской француженкой из местечка Веве на берегу Женевского озера, которое она называла Ляк-Леман, недалеко от знаменитого Шильонского замка и в виду горной альпийской гряды Данде-Миди, что по-русски значило «зубы полудня». Девичья фамилия ее была Обржей. Она была девушкой из фермерской семьи местных виноградарей.

Выйдя замуж за русского, сына вятского соборного протоиерея, она приняла православие и сделалась госпожой Синайской. Ее звали Зинаида Эммануиловна.

Как же все это произошло? А очень просто, вполне в духе девятнадцатого века, может, даже не без влияния романов Жорж Занд, которые еще в то время читали.

Ее брак с Никанором Никаноровичем явился следствием курортного романа. Они познакомились в Крыму. Она слу-

жила бонной-воспитательницей в богатом русском семействе, приехавшем на виноградный сезон на Южный берег Крыма.

Швейцарские девушки считались отличными гувернантками и компаньонками. Они охотно приезжали в Россию, с тем чтобы там заработать себе на приданое.

Никанор Никанорович, в то время еще довольно молодой, красивый педагог, проводил свой летний отпуск в Крыму, до которого от Одессы было рукой подать. Он был очарован впервые им увиденными крымскими красотами: розовыми скалистыми горами, пламенно-синим морем, темными веретенами кипарисов над плоскими кровлями татарских саклей, деревенскими небольшими мечетями, виноградниками Массандры, проводниками верхом на лошадях, сопровождающими приезжих русских амазонок в цилиндрах с вуалетками...

Остальное нетрудно представить:

...красивый педагог в чесучовом сюртуке, в котором уже трудно было увидеть черты бывшего вятского семинариста...

...швейцарская девушка в свои двадцать лет, в белой войлочной курортной шляпе на резинке, была еще по-деревенски свежа и весьма недурна. Ею любовались крымские туристы, когда она – такая скромная и такая милая – шла по ял-

тинской набережной, ведя за ручки двух своих воспитанниц в воздушных платьицах, из-под которых высовывались кружевные панталоны с шелковыми ленточками...

Они познакомились.

Сломанный зуб Ай-Петри на фоне высокого крымского неба, водопад Учан-Су, мраморные львы воронцовского дворца, лунная ночь в Гурзуфе, татарский шашлычок на коротеньких палочках и розовый мускат сделали свое дело. Он угадал в ней любящую, верную супругу и хорошую хозяйку. Она увидела в нем прекрасного русского мужчину из хорошей древней религиозной семьи соборного протоиерея, которого считала едва ли не епископом, князем-церкви.

В особенности привлекал Никанора Никаноровича ее мило ломаный русский язык, ее французская картавость, называвшаяся грассированием. От картавости она не избавилась до самой смерти.

Ее галльский нос в то время не был еще особенно велик, а веснушечки делали его прелестным французским носиком, хотя и придавали ее девичьему лицу несколько мужские черты швейцарских виноделов.

В те времена жениться русскому господину на иностранной гувернантке, вероятно, считалось не слишком приличным, хотя в некоторых случаях и допускалось.

Они вступили в брак по взаимной любви. Она оказалась действительно верной, любящей женой и прекрасной хозяй-



кой, державшей дом в идеальном порядке. Она сама ходила на базар, вполне резонно не доверяя кухарке. Она родила Никанору Никаноровичу много детей – мальчиков и девочек. Миша был последним, самым младшим. Он появился на свет, когда Зинаида Эммануиловна была в летах, и она казалась маленькому Мише почти старухой. Такое же впечатление она произвела на своего племянника, двоюродного брата Миши, – на Сашу Синайского: пожилая тетка, французенка, произносившая вместо «помидоры» «памадоры».

Она громко торговалась на Привозе с крикливыми холушками. Она носила шерстяную мантилью в черно-зеленую клетку, и на ее мужском носу прочно сидело основательное пенсне в черной оправе, со шнурком, заложенным за ухо. Сквозь стекла пенсне зорко смотрели вороныи глаза, что делало ее лицо строгим, даже злым, хотя на самом деле она была очень добрая женщина, услужливая, готовая любому ближнему сделать добро как истинная христианка. Она всей душой приняла православие, аккуратно ходила в церковь, исполняла все церковные обряды, по субботам зажигала возле иконы лампадку, а в вербное воскресенье непременно покупала пальмовые ветки, заменявшие традиционные в России вербы.

Пальмовые ветки привозили из Палестины на пароходах и продавали на Афонском подворье против вокзала. Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом

с бутылочкой со святой водой.

Пальмовые листья, еще не вполне распустившиеся, напоминали крепко сложенные бумажные китайские веера бледно-зеленого цвета. При свете лампадки они отбрасывали на потолок легкие тени.

«Прозрачный сумрак, луч лампы, кивот и крест – символ святой... Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой».

Ветка Палестины за образом – и так волшебным образом изображенная Лермонтовым – как бы вносила в семью мир и отраду.

Зинаида Эммануиловна никогда не забывала заложить пальмовую ветку за икону, некогда привезенную Никанором Никаноровичем из Вятки в Одессу.

Легко привыкнув к обрядам православной церкви, Зинаида Эммануиловна никак не могла привыкнуть к русскому языку. Она выговаривала русские слова на французский лад. Она наделила всех своих детей какой-то французско-швейцарской прелестью: золотистым оттенком русых вятских волос, живостью речи, энергией. Ее дети почти все отличались какой-то не вполне русской красотой, особенно девочки – старшая, Надежда, и средняя, Елизавета, – каждая в своем роде. Мальчики тоже удались на славу: старший, Константин, лицом был совсем молодой красивый француз, весель-

чак.

...Закрученные усики, игривые глаза в пенсне отдавали чем-то парижским...

Младший, Миша, в детстве был еще вполне русским мальчиком, но впоследствии в его лице появилось нечто западноевропейское, а к пожилому возрасту он стал похож на французского академика, одного из «бессмертных». Кроме младшей дочери Лели, умершей в одиннадцать лет от костного туберкулеза, все дети были здоровы.

Смерть Никанора Никаноровича Зинаида Эммануиловна пережила тяжело, но мужественно, не проявляя своего горя. Она заказывала гроб, нанимала похоронных служащих, так называемых мортусов, в треугольных шляпах, составляла похоронные объявления для газет, поправляла на покойнике сюртук, расчесывала его волосы, сама варила рис для погребального колева, обкладывала его горку на блюде разноцветными мармеладками и посыпала сахарной пудрой, а потом, уже на кладбище, раскладывала большой разливательной ложкой это колево в рваные шапки кладбищенских нищих.

Она надела наспех скроенное и сшитое на живую нитку черное траурное платье и траурную шляпу с пасмурной вуалью и надела на рукава своим детям креповые повязки.

Двоюродные братья Миша и Саша находились среди взрослых Синайских в холодной кладбищенской церкви, где на паперти у открытых дверей стояли зловеще-черные носилки с длинными ручками. Пел хор семинаристов. Знакомые священники в черно-серебряных ризах ходили вокруг высоко поставленного гроба, размахивая кадилами, откуда валили клубы лилового дыма росного ладана, покрывая покойника.

Удручающе редко звучали церковные колокола, наводя на мальчиков ужас.

В изголовье гроба стояла Зинаида Эммануиловна. Покойник лежал глубоко в гробу, откуда виднелись высоко сложенные на груди костлявые кисти рук с кипарисовым крестиком, вложенным в сплетенные пальцы.

...И хорошо причесанная лысоватая голова с хрящеватым носом и высоким лбом, отражавшим язычки свечей в высоких подсвечниках с четырех сторон гроба.

Все это называлось панихида, а за нею следовали еще более удручающие слова – «вынос тела». Вынос уже не человека, а только его уже никому не нужного мертвого тела, одетого в сюртук и специальные, наскоро стачанные туфли, так называемые босовики.

Оказалось, что Никанор Никанорович не успел по годам выслужить пенсию. Семья осталась без средств. Зинаида Эммануиловна стала энергично действовать. Ей удалось выхлопотать через консисторию небольшое пособие – эмеритуру.

Жить большой семье на маленькую эмеритуру стало трудно. Вся грузная мебель с трудом разместилась в маленькой квартире – в той же старой семинарии, – куда переселилась семья покойного. Еще надо было разместить детей, уже достаточно взрослых.

Как это ни странно, но бодрости у Зинаиды Эммануиловны прибавилось еще больше.

Слово «эмеритура» она произносила совершенно по-французски, так же как слово «консистория». Что же касается недуга, от которого скончался ее муж – нервно-периферического паралича, – то она эти слова произносила не только вполне по-французски, особенно сильно грассируя, но даже с некоторой гордостью, как будто бы нервно-периферический паралич был чем-то вроде высокого чина, например действительного статского советника.

– Никанор Никанорович скончался от нервно-периферического паралича, – объясняла она знакомым значительно и с большим достоинством. – Я выхлопотала через консисторию эмеритуру, – что звучало у нее как бы вполне по-французски.

Все это было так давно!

...Теперь по другой стороне улицы виднелись корпуса некогда бывшего «Общества квартировладельцев», выстроенные незадолго до первой мировой войны. В одном из этих корпусов когда-то жил вдовец Николай Никанорович Синайский со своими двумя сыновьями.

Новенькие, нарядные корпуса в стиле модерн теперь постарели, кое-где штукатурка облупилась, и в них уже поселилось множество незнакомых семейств, вытеснивших прежних жильцов, и дома эти уже назывались ЖЭК.

– А ты помнишь, Саша, то время, когда здесь вообще не было никаких домов и мы с тобой, забредя на окраину города, ловили лягушек и за нами увязался тогда совсем еще маленький Жорочка? Он носил за нами банку с головастиками. Теперь уже никого не осталось – ни твоего отца, ни твоего младшего брата Жорочки. Всех унесло время. Только мы с тобой, последние Синайские, по счастливой случайности выжили, хотя и были все время на грани уничтожения.

После столь длинной речи Михаил Никанорович остановился, для того чтобы передохнуть. Он вынул из кармана халата пробирочку, подумал, но не стал высыпать на ладонь белые крупинки: обошлось.

Они стояли под старой уличной акацией, погруженные в воспоминания. Может быть, они вспомнили гимназические

годы и вербное воскресенье, когда они гонялись за выходящими из церкви гимназистками и хлестали их по касторовым шляпкам пальмовыми ветками, весело выкрикивая общепринятое:

– Не я бью, верба бьет!

Ветка Палестины заменяла традиционную вербу.

После смерти Никанора Никаноровича семья его распалась. Зинаида Эммануиловна вместе со старшим сыном Константином переехала в Петербург на жительство к Наде. Костя, выйдя из университета, перевелся в Петербургскую военно-медицинскую академию, где с увлечением слушал лекции великого Павлова по физиологии.

К стройной фигуре Кости очень шел мундир Военно-медицинской академии, сначала с погонями нижнего чина, а впоследствии и с серебряными офицерскими военного врача. Он был отправлен для прохождения службы в Хабаровск, где след его затерялся.

Дальний Восток в те времена был для России при мерно тем же, чем еще раньше Кавказ, о котором пели:

«Не уезжай, голубчик милый, на тот погибельный Кавказ».

Средняя сестра, Елизавета, или попросту Лиза, осталась

с Мишей в Одессе. Она сделалась хозяйкой маленькой квартиры осиротевших Синайских.

Миша учился в той самой гимназии, куда вскоре поступил и его двоюродный брат Саша. Они учились в разных классах и встречались на переменах в широком коридоре, на всю жизнь запомнившимся красивыми метлахскими плитками пола, по которому можно было с разбегу скользить на каблуках с маленькими подковками. Больше всего они любили этот просторный коридор, куда выходили стеклянные двери классов и откуда раздавался длинный звонок, извещавший об окончании урока и о начале перемены.

По другую сторону коридора тянулся ряд высоких окон. За ними виднелась бедная улица с белыми, уже облетевшими акациями и над крышами двухэтажных домов безрадостное ноябрьское небо, предвещавшее длинный учебный год с двойками и записями в кондуитный журнал.

В начале декабря в гимназию приходили стекольщики замазывать окна. Один из стекольщиков появлялся в коридоре. Шлепнув на подоконник увесистый ком замазки, мужик в холщовом фартуке с нагрудником и в сапогах принимался за работу. Гимназисты, выбегавшие на перемене из классов, теснились возле него. Даже всегда угрюмый классный надзиратель как замороженный следил за действиями стекольщика...

С тех пор прошло больше полувека, а двоюродные братья



и сейчас, идя вдоль госпитальной стены, ясно видели все подробности замазки гимназических окон.

...Стекольщик отдирает от оконных рам прошлогоднюю, засохшую замазку и, раскатав между ладонями комочек свежей замазки, волшебным движением стамески вмазывает ее в щель оконной рамы. Если же требовалось заменить разбитое или треснувшее оконное стекло, то начиналось уже подлинное волшебство мастерства: стекольщик вытаскивал из своего решетчатого деревянного рабочего ящика новое стекло, еще зеленоватое, покрытое опилками, а затем, положив на подоконник, проводил по нему вдоль линейки алмазиком. Раздавался пронзительный, какой-то режущий, очень зимний звук, и стекольщик отламывал от стекла лишнюю полоску, чем-то напоминающую внутреннюю полоску максимального термометра.

Гимназия – все ее три этажа – была насыщена запахом замазки. Под ногами хрустели полоски стекла. Гимназисты мяли в руках замазку, лепили из нее разные фигурки, на которых оставались отпечатки пальцев.

Однажды из Петербурга пришла телеграмма. В то время телеграммы приходили очень редко и почти всегда содержали в себе нечто зловещее.

Миша Синайский на некоторое время исчез из гимназии, а когда снова появился на перемене в коридоре, то на рукаве его курточки Саша увидел траурную крепкую повязку.

ку. За время своего отсутствия Миша так изменился, что его трудно было узнать. Он вдруг как-то сразу повзрослел. Под глазами легли синие круги. Видно было, что он много плакал. Он вернулся из Петербурга с похорон своей матери Зинаиды Эммануиловны, умершей от воспаления легких. Ее доконал сырой петербургский климат.

Двоюродные братья обнялись и заплакали. Они представили себе мертвую Зинаиду Эммануиловну, похороненную в сырой могиле болотистого петербургского кладбища. Миша стал круглым сиротой – без отца и без матери. Сознание этого так поразило Сашу, что он долгое время не мог примириться с мыслью, что все его двоюродные братья и сестры Синайские сделались круглыми сиротами, чего в их роду еще не бывало.

Мишина сестра Лиза надела черное шерстяное платье с закрытым воротом и черную шляпку с траурной вуалью, но по-прежнему оставалась прелестной и цветущей, хотя и побледнела. Она не была так безукоризненно красива, как ее старшая сестра, петербургская Надя, но в ее темных, поистине собольих бровях, в ее небольших хорошеньких ручках с розовыми пальчиками, в ее каштановых волосах со швейцарской рыжеватостью было много прелести, которую не портило слишком южнорусское произношение и простонародные интонации, свойственные Новороссийскому краю. Она была трудолюбива и хозяйственна, как и ее покойная

мать. Ей приходилось очень трудно. Для того чтобы содержать себя и своего брата Мишу, она бегала по грошовым урокам, при этом аккуратно посещая лекции на курсах, а также брала на дом заказы на кройку и шитье женских и детских платьев: у нее был хороший вкус.

Теперь ее опорой стал брат покойного отца Николай Никанорович Синайский, отец Саши, единственный оставшийся в живых из трех сыновей вятского протоиерея. Она называла Николая Никаноровича дядя Коля.

Рано овдовевшему дяде Коле было нелегко воспитывать двух сыновей.

В обычае было овдовевшему мужу с детьми на руках жениться вторично. Но Николай Никанорович принадлежал к числу однолюбов и до конца жизни оставался верным покойной жене. В этом он следовал примеру православных священников, которым было по церковным законам запрещено вступать вторично в брак.

Он любил осиротевших племянников и племянниц старшего Синайского как родных детей и чем мог помогал Лизе и Мише. Лиза его боготворила и считала вторым отцом. Он и вправду был для нее и для Миши вторым отцом. Лиза советовалась с дядей Колей во всех затруднительных случаях и всегда получала не только моральную поддержку, но также по мере возможности и материальную.

Однажды Лиза пришла к Николаю Никаноровичу и, не снимая шляпки, села в кресло в гостиной под фикусом. Ее

щеки заливал румянец. На глазах стояли слезы. Но это были слезы счастья. Она долго молчала, не в силах выговорить ни слова. Николай Никанорович понял, что Лиза хочет сказать что-то очень важное, но ей трудно было преодолеть смущение и она стеснялась говорить при мальчиках, возившихся в гостиной: старший, гимназист Саша, таскал младшего Жору, на опрокинутом стуле, что казалось маленькому Жоре поездкой на коне.

Отец отправил их спать и закрыл за ними дверь.

– Ну, Елизавета, говори, что случилось? – сказал Николай Никанорович и уселся против племянницы на стул.

– Дядя Коля, я хочу с вами посоветоваться. Мне сделали предложение...

...И через некоторое, не слишком продолжительное время, ушедшее на обычные свадебные приготовления, в той же самой маленькой гостиной Лиза в подвенечном платье, с фатой на убранной цветами голове мягко опустилась на колени перед своим дядей Колей, который держал в руках образ.

– Дядя Коля, ну скажите мне что-нибудь... Николай Никанорович поцеловал ее в склоненную голову и сказал:

– Дорогая Лизочка, если ты со своим будущим супругом хочешь жить во взаимном счастье и благополучии, то запомни одно: во всем уступайте друг другу. Это самое главное в семейной жизни.

В его голосе прозвучало нечто пасторское. Он немного помолчал, а потом дрогнувшим голосом проговорил:

– Мы с моей покойной женой, матерью Саши и Жорочки, а твоей тетей, всегда и во всем уступали друг другу. И мы были счастливы.

И слезы показались у него на глазах. Одна слезинка поползла по щеке, по бородке. Он справился с волнением, вздохнул и благословил Лизу, трижды осенив ее крестным знаменем старой семейной вятской иконой Иисуса Христа, еще, может быть, новгородского письма, в почерневшем серебряном окладе.

Лиза, вся пунцовая от волнения, поцеловала его руку с обручальным кольцом, уже вьевшимся в морщинистую кожу пальца.

У ворот дома стояла наемная карета, куда две подружки-курсистки, нарядно одетые, посадили невесту, а на передней скамеечке против нее устроили одетого в новенький бархатный костюмчик свадебного мальчика, роль которого исполнял пятилетний Жорочка, изо всех сил прижимавший к груди икону. Он должен был по обычаю нести ее в церкви перед невестой, а потом положить на столик, покрытый парчой.

Жених прискакал на лихаче вслед за невестой. Они встретились на паперти и вдвоем – прекрасные, молодые и смущенные – пошли к алтарю, а впереди них шагал в своих фильдекосовых чулках и скрипящих ботинках маленький Жора с иконой, прижатой к груди.

Мальчик был так взволнован своей ролью, так горд, что ему впервые в жизни довелось сначала ехать в карете, а потом среди нарядных гостей, лампад и свечей идти по ковровой дорожке посреди церкви, где уже гремел хор семинаристов, что, подойдя к алтарному столику, он торопливо положил на него икону, но не ликом вверх, а ликом вниз.

Подбежавшая подружка невесты торопливо перевернула икону ликом вверх. Все вокруг так и ахнули, хотя сделали вид, что ничего не случилось. Но уже ничего нельзя было поправить. Икона, положенная ликом вниз, была ужасной приметой.

Обряд бракосочетания – вернее, не обряд, а таинство – прошел гладко и даже весело. Курсистки и студенты создавали атмосферу молодости. Молодые голоса хора звучали радостно. Все вокруг жениха и невесты было молодо. Даже венчавший их священник оказался совсем молодым, лишь недавно принявшим сан. Но моложе и прекраснее всех казались жених и невеста, как бы созданные друг для Друга.

Жених в парадном студенческом синего сукна мундире с твердым стоячим воротничком, статный, счастливый, с черными напомаженными волосами, расчесанными на косой ряд, смуглолицый красавец с молодыми шелковистыми усами, грек по национальности, стоял рядом с Лизой, то и дело поворачивая к ней хорошо выбритое, даже немного голубоватое лицо с немного раздвоенным подбородком, как бы

каждую минуту желая удостовериться, что она тут, рядом, никуда не делась.

Студенты-шаферы в белых перчатках высоко держали над женихом и невестой венцы, а жених все время норовил стать на носки, стараясь, чтоб венец наделся ему на голову, что очень веселило невесту, и она тоже вставала на носочки атласных туфелек, желая по примеру своего нареченного также надеть венец на головку. У жениха было не совсем обычное имя Пантелеймон, и Лиза то и дело шептала ему на ухо, чтобы священник не услышал:

– Пантелей, веди себя прилично, не забывай, что ты в церкви.

...Полураспустившаяся роза в фате утреннего тумана...

Фамилия Пантелея была Амбарзаки, что ничуть не портило, а, наоборот, придавало ему некоторую эллинскую прелесть.

На глазах у всех при звуках церковного хора Лизочка Синайская превращалась в мадам Амбарзаки.

Когда по обряду молодожены выпили из плоского серебряного сосудика по глотку церковного красного вина кагора, обменялись кольцами, а потом поцеловались, было сразу заметно, что это далеко не в первый раз. Дружки и подружки насилу удержались, чтобы не зааплодировать, а молодой священник погрозил пальцем, улыбаясь в свою золотистую,

еще не отросшую как следует бородку.

Свадебный пир закипел в маленькой квартирке невесты. Дядя Коля подарил Лизе на свадьбу сто рублей, взятых им в кассе взаимопомощи епархиального училища, где он числился в штате. Именно на эти деньги, по тому времени весьма значительные, Лиза справила небольшое приданое и устроила свадебный пир. Двоюродные братья впервые попали на подобное торжество. Среди взрослых гостей они чувствовали себя стесненно в будничной гимназической форме, а парадных мундирчиков у них не было.

Стараниями жениха и невесты маленькая запущенная квартирка преобразилась.

Мать молодого супруга мадам Амбарзаки, по имени Миропа Григорьевна, приехала на пароходе из Греции на свадьбу сына. Двоюродные братья с большим любопытством и даже не без некоторого страха исподтишка смотрели на величественную гречанку в нарядном шелковом платье с рукавами буф и массивной золотой цепью на шее. Сначала гречанка показала им сердитой и очень недовольной, что ее сын Пантелей женился на их Лизе. Но вскоре оказалось, что, несмотря на всю свою величественность и даже небольшую усатость, гречанка очень добрая и даже веселая старушка. Она от всей души расцеловала Лизу, назвала ее дорогой сво-



ей дочкой и подарила ей ожерелье из крупных розовых кораллов, а своему сыну Пантелею две вещицы, только что вошедшие в моду во всем цивилизованном мире: безопасную бритву «Жиллетт» в футляре из крокодиловой кожи и вечную ручку с золотым пером «Монблан». Этот элегантный подарок произвел, как тогда принято было говорить, фурор, вызвав бесхитростные остроты вроде того, что теперь у молодого супруга всегда будет идеально выбритое лицо и он наконец перестанет колоть щечки своей милой супруги, а также будет аккуратно записывать вечной ручкой вечные хозяйственные расходы.

Саше и Мише мадам Амбарзаки подарила по коробке фиников. На коробках были цветные картинки – пальма и верблюды на фоне пирамид.

По мнению двоюродных братьев, такие подарки могла сделать только богатая женщина. Она и вправду оказалась богата. Некогда ее покойный муж держал в Одессе крупный колониально-бакалейный склад, пользовавшийся хорошей репутацией. Амбарзаки разбогатели.

Мадам Амбарзаки недурно говорила по-русски, исповедовала, как все греки, православие и считала Россию своей второй родиной. Ее предки принадлежали к знаменитой гетерии, основавшейся в Одессе и ведшей борьбу с турками за освобождение Греции от ига Османской империи. У нее

в квартире в Афинах на стене висели портреты Байрона и Пушкина. Она пожелала дать своему сыну русское образование, определила его в Новороссийский университет и была рада, что сын ее женился на русской девушке из духовного рода, родной внучке соборного протоиерея и дочке статского советника, инспектора духовной семинарии.

Во всех комнатах горели свечи и керосиновые лампы. Листья фикусов, вымытые водой с мылом, блестели. На раскрытых ломберных столах была расставлена закуска для ужина а-ля фуршет.

Окруженная молодежью, пожилая гречанка ходила по квартире, доброжелательно осматривая обстановку. Молодой супруг повел ее в дальнюю комнатку, где некогда жила покойная Леля. Здесь была устроена спальня новобрачных и выставлено на всеобщее обозрение приданое: ночные кружевные сорочки, множество подушек и думок в наволочках из голландского полотна, ночные туфельки на гагачьем пуху. На двуспальной кровати ярко алело стеганое пуховое одеяло с перламутровыми пуговичками для пододеяльника. В углу перед образом теплилась лампадка, и тень полусохшей пальмовой ветки, сохранившейся с прошлого вербного воскресенья, мирно лежала на потолке.

Миропа Григорьевна перешупала все подушки и осталась довольна. Она перекрестилась на образ и сказала:

– Дети мои! Любите друг друга! И пусть у вас всегда за образом будет пальмовая ветка, символ мира и тишины.

Молодой муж поцеловал руку своей матери в кружевных митенках, а затем обнял за плечи молодую жену и, похлопав ладонью по пуховому одеялу, до рези в глазах яркому, игриво заметил:

– Здесь будет у нас с Лизочкой поистине райский уголок.

За что получил от смутившейся Лизочки легкий ласковый шлепок по губам.

Двоюродные братья покраснели, как бы прикоснулись к какой-то не вполне приличной тайне.

...всей компанией гости во главе с новобрачными были приведены в ванную комнату с дровяной колонкой, где в цинковой ванне лежало несколько златогорлых бутылок, заваленных кусками искусственного льда. Это было французское шампанское «Редерер», столь же модное, как бритвы «Жиллетт», вечные ручки «Монблан» и аэроплан «Блерио»...

Мальчики уже предвкушали хлопанье пробки, о чем так прекрасно было сказано в «Евгении Онегине», но – увы! – пробки полетели в потолок без них, так как гимназистов отправили спать. Однако до красного мороженого, специально для свадебного ужина заказанного в кондитерской Дитмана, они все-таки досидели. Каждому досталось по пять шариков, да еще потом по четыре, которые они выпросили у счастливой молодой супруги. Так что кроме фиников, они наелись

дитмановского мороженого до отвала, едва ли не до ангины. Они доедали мороженое уже под звуки матчиша, который наяривал один из шаферов-студентов с атласным бантом на рукаве, не жалея пожелтевших клавишей разбитого пианино, перешедшего теперь в собственность молодой мадам Амбарзаки, бывшей Лизочки Синайской. Затем все пели хором студенческие куплеты:

«Ели картошку, пили квас, что будет с нами через час?  
Воображаю! Воображаю!»

Под этот рефрен «воображаю!» двоюродные братья уехали на последней конке ночевать к Саше Синайскому.

Семейная жизнь молодых Амбарзаки началась весело и счастливо. Ничто не предвещало беды, предсказанной иконой, положенной ликом вниз. О неловком поступке маленького Жоры забыли или, во всяком случае, не придали ему никакого значения...

Миропа Григорьевна выдавала сыну ежемесячно по двести рублей, сумму по тому времени громадную. Молодые наняли квартиру из двух комнат, не желая оставаться в старой семинарии. Они обставили свою новую квартиру в стиле модерн, а летом вместе с семьей Николая Никаноровича и братом Сашей поселились невдалеке от города, на так называемом Сухом лимане, в деревне Александровке.

Сухой лиман был вовсе не сухой, а являлся заливом, отделенным от моря белоснежной песчаной косой, куда во время сильного прибоя закрученные в трубы как бы зелено-стеклянные волны вместе с языками хрупкой белоснежной пены выбрасывали к босым ногам двоюродных братьев редкие ракушки чертовы пальцы, морских коньков, винные пробки с проходящих пароходов, обесцвеченные лимонные кружки и маленьких медуз, таявших на солнце.

Со времени свадьбы прошло уже года два или три, а супруги были так же безоблачно счастливы. Пантелей оказался не только верным, любящим мужем, но также прекрасным родственником. Он любил искренно и нежно всех Синайских, почитал как отца Николая Никаноровича, но в особенности привязался к маленькому Жоре, уже к тому времени сильно подросшему.

Все мальчишки обожали веселого, компанейского Пантелея, а Жора не отставал от него ни на шаг. Они были неразлучны. Жора загорел и был очень хорош со своей челочкой, наголо остриженным затылком и янтарно-кари-ми глазами.

Жили в просторной мазанке под камышовой крышей, нанятой на лето у рыбака, переехавшего в курень, где у него хранились сети и весла.

Обед готовила Лиза на керосинке со слюдяным окошечком, сквозь которое виднелись синие язычки пламени. Лиза еще больше похорошела, расцвела уже не девичьей, а вполне

дамской красотой, полненькая, веселая, с небольшими веснушками, выступившими летом на ее носике. Характером она пошла в свою покойную мать Зинаиду Эммануиловну: сама покупала на местном базарчике овощи и свежую рыбу, торговалась с хохлушками и очень мило называла лук цибулей, а кукурузу пшенкой.

Мальчики ходили полуголые, и даже Николай Никанорович сбросил свой учительский сюртук и надел малороссийскую рубаху-косоворотку с вышивкой, сделанной его покойной супругой, когда она была еще его невестой. По народной традиции невеста вышивала своему жениху рубаху. Косоворотка сделала Николая Никаноровича более молодым и как-то более простонародным, вятским. Он ходил тоже босиком.

Обычно купались в лимане. Его неподвижная густо-синяя вода, нагретая солнцем, была так перенасыщена солью и так тяжела, что человеческое тело в ней не тонуло, а само собой держалось на поверхности. На поверхности воды можно было лежать не двигаясь, распластавшись, как на полу.

Высокий красавец Пантелей и загорелый мальчик Жора, оба в полосатых купальных штанишках, ходили на песчаную косу и купались в море. Пантелей учил Жору плавать и нырять с открытыми глазами. Волны обдавали их пеной.

Лето стояло на редкость знойное. Новороссийская степь простиралась до самого мутного от зноя горизонта. Оттуда веяло жаркими запахами диких трав – чебреца, шевуни-цы, полыни. Иногда оттуда начинал дуть суховей. Но близость

моря смягчала одуряющий жар.

Миропа Григорьевна спасалась от жары на одном из островов Эгейского моря, сидя на веранде своей дачи под тентом, ела из блюдечка маленькой серебряной ложечкой лимонное варенье с орехами и запивала его ледяной водой. А вокруг античная лилово-сиреневая синева Эгейского моря, где кувыркались дельфины, на горизонте белели острова архипелага и виден был дым броненосцев, не то французских, не то итальянских, не то немецких – целые эскадры.

Изредка она отправляла открытки в Россию с изображением Акрополя на лаково-лиловом фоне афинского безоблачного неба. Она писала, что скучает без своих русских родственников и опасается, не начнется ли вдруг какая-нибудь война, не дай бог!

Однажды, купаясь в море, Жора заметил на спине Пантелея странное пятно вроде черной родинки, но только гораздо больше, величиной с пятак. Сначала никто на это не обратил внимания. Но пятно стало разрастаться. Оно сделалось какого-то пугающего лиловатого оттенка. Пантелей не чувствовал боли, но какой-то странный зуд. Лиза встревожилась, как бы вдруг почувствовав приближение несчастья. Она решила не откладывая везти Пантелея в город и показать врачу. Пантелей отшучивался, говоря, что это пустяк, из-за кото-

рого не стоит нанимать бричку и ехать в город. Все пройдет само собой. Но Лиза вспомнила икону, положенную ликом вниз, и перестала спать. Странное пятно было на спине Пантелея, и он его не видел, а только чувствовал. Лиза принесла зеркало. Пантелей увидел на своей спине пониже лопаток зловещее большое пятно. Оно испугало Пантелея. Лиза наняла в Александровке бричку и повезла мужа в город.

Прошло больше двух недель, как вдруг к мазанке подъехала бричка, в которой сидела женщина в черном. Суховой, несший вихри жаркой степной пыли, крутил траурную вуаль. Женщина вся была покрыта дорожной пылью. В постаревшем, почерневшем, заплаканном лице трудно было узнать Лизу. Путаясь в юбке, она с трудом слезла с брички и бросилась к Николаю Никаноровичу, вышедшему из мазанки. Босой, с волосами, растрепанными суховеем, он стоял на фоне синего лимана, как на берегу Геннисаретского озера. Лиза бросилась к нему на грудь и зарыдала. Все было ясно.

...Лиза не отходила от умирающего мужа, который жил уже на морфии. Когда наступало временное улучшение, Лиза отлучалась ненадолго из клиники в свою двухкомнатную квартирку, где они с мужем жили так счастливо. Там она падала на колени перед венчальным образом, умоляя спасителя о пощаде. Темный лик богочеловека оставался неумолимо строгим, беспощадным, и рука его с двумя поднятыми



вверх перстами оставалась неподвижной, и на темном, древнем челе его лежала легкая тень прошлогодней пальмовой ветки...

Двоюродные братья дошли вдоль госпитальной стены почти до штаба. Штаб этот, во время Великой Отечественной войны разбомбленный немецкой авиацией, был уже восстановлен и напоминал тот штаб Одесского военного округа, каким был в дореволюционное время, а также и во время гражданской войны, когда возле него однажды стояла, припав на сломанное колесо, брошенная деникинцами трехдюймовая пушка, а недалеко на ступенях штаба лежал труп расстрелянного генерала в шинели с красной подкладкой...

...Они остановились на углу, постояли, вспоминая свою жизнь на берегу Сухого лимана, внезапную смерть Пантелея.

– Вот ты, Миша, старый, опытный медик, заслуженный врач, – сказал Александр Николаевич, – как ты думаешь, от какой болезни тогда умер наш Пантелей? Врачи перерыли медицинские словари, справочники на всех европейских языках – и ничего не выяснили. Никаких упоминаний о такого рода заболевании нигде не находилось.

– Как тебе сказать, Саша. Видишь ли, медицина до сих пор по раскрыла всех тайн человеческих недугов. Еще есть много загадочного. Кто-то из врачей, помнится мне, сделал тогда предположение, что это какая-то неизвестная форма

тропического гнилостного заболевания еще библейских времен. Я лично думаю, что этот врач был недалек от истины. Возможно, что Пантелея действительно унесло в могилу какое-то еще до сих пор не исследованное тропическое вирусное заболевание. Не исключено, что это редчайшая форма рака крови, какого-то древнего, может быть, даже добиблейского происхождения. Из глубины Африканского континента вирусы были занесены сначала в воды Верхнего Нила, оттуда в Египет, в дельту Нила, оттуда попали в Средиземное море; может быть, ими оказались заражены морские рыбы, медузы, водоросли, вообще весь средиземноморский планктон. А там уже недалеко до Европы, до архипелага Эгейского моря, до Греции. А может быть, они были занесены из Малой Азии вместе, например, с пальмовыми ветками... Как знать, какова живучесть этих вирусов, каков инкубационный период их заражения. Через сколько веков они могли попасть в кровь античного человека, передаваться из поколения в поколение, не вызывая никаких болезненных симптомов, и вдруг убить отдаленного потомка античного грека. А что касается истории с перевернутой иконкой, то я, Саша, будучи учеником Павлова и материалистом, считаю это вздором.

– Да, конечно... Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз.

– Наш Жора, – строго сказал Михаил Никанорович, – погиб как герой, отдав свою жизнь за Родину, когда ему было

уже сорок лет от роду.

– Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет, пока не настигла его на Сапун-горе.

– Ты веришь в приметы?

– Приходится.

– Ты, Саша, идеалист, может быть, даже мистик. Вот уж чего я от тебя никак не ожидал!

– Но в таком случае вот ты, ученик материалиста, физиолога Павлова и сам материалист, ответь мне: почему погиб именно Жора, а мы с тобой, прошедшие две мировые войны и одну гражданскую, остались живы, хотя не избежали ранений? Почему смерть нас не настигла?

– На это я тебе ответить не могу при всем моем материализме, – с легкой усмешкой сказал Михаил Никанорович. – Здесь моя физиология бессильна.

– Но ведь и нашу Лизу смерть тоже не пощадила, правда совсем недавно, но... Почему?

– Ну, она была уже в пожилом возрасте, когда люди редко выздоравливают от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Значит, смерть все время гонялась за ней, пока наконец не настигла, хотя и в пожилом возрасте.

– Ах, Саша, неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть? Вот, например, и за мной...

Михаил Никанорович прислонился к госпитальной стене. Его губы опять побелели. Он вынул из кармана пробирочку

и положил в рот несколько крупинок.

Через некоторое время лицо его порозовело и оживилось.

– Пронесло, – сказал он почти весело. – Знаешь, Саша, пойдём-ка мы лучше обратно в госпиталь. Мне бы не мешало немного полежать.

Они пошли обратно вдоль все той же невероятно длинной госпитальной стены. И теперь у них с правой руки должны были открыться незастроенные участки, некогда занятые под садоводство Веркемейстера, славившегося до революции своими штамбовыми розами и хризантемами.

Теперь на этом месте возводилось новое здание обкома партии. Туда въезжали грузовики со строительными материалами.

Когда-то давным-давно по Пироговской улице ходили в гимназию Саша Синайский, его младший брат Жора, а их отец Николай Никанорович со стопкой голубых ученических тетрадок под мышкой торопился к Куликову полю, откуда уже на конке ехал на уроки.

Воспоминания о Николае Никаноровиче сопровождали двоюродных братьев, медленно шагавших по Пироговской улице.

Последние годы жизни Николая Никаноровича совпали с концом первой мировой войны, революцией, Брестским миром, немецкой оккупацией юга России и установлением со-

ветской власти, которая дошла сюда и окончательно утвердилась лишь на третий год после Октябрьской революции. А до этого времени город переживал постоянные потрясения – шесть или семь переворотов. Власти менялись с быстротой непостижимой.

Немецкая оккупация и никому не понятная гетманщина сменялись петлюровщиной; петлюровщину вышибала молодая Красная гвардия; Красную гвардию сменяли интервенты: высадились со своих военных транспортов отряды британской морской пехоты, которые бегали по улицам, гоня перед собою футбольные мячи, маршировали черные как смола сенегальские стрелки и зуавы в красных штанах и стальных касках – цвет французской оккупационной армии; появились греческие солдаты со своими походными двухколесными фургонами, запряженными ослами и мулами; потом интервенты исчезли; их заменили белогвардейцы – деникинцы со своей контрразведкой, которая расстреливала и вешала ушедших в подполье большевиков; на смену деникинцам ненадолго появились еще плохо организованные части Красной Армии...

...Все требовали фуража, продовольствия, помещений. Штабы занимали гимназии, реальные училища, городские школы. Епархиальное училище, где преподавал Николай Никанорович, было превращено в лазарет.

Николай Никанорович остался без работы и без жалования. Жить стало нечем. Он стал продавать вещи, но, как это ни странно, на судьбу не роптал. Он считал русскую революцию исторической закономерностью, предсказанной еще декабристами, а также возмездием за прежнюю грешную, несправедливую жизнь дворянского общества, купечества и духовенства, постепенно превращавшегося в синодальное чиновничество.

...Однажды во двор дома на Пироговской пришел молодой паренек в застиранной военной форме, в рыжих обмотках и разношенных солдатских башмаках, в фуражке с ярко-красной новенькой пятиконечной звездой на месте кокарды. Он назвался делегатом воинской части, расквартированной на ночлег в деревянном сарае. Стоя посреди двора, красноармейский делегат обратился к жильцам дома с просьбой одолжить на ночь подушки для красноармейцев.

Это был совсем молоденький парнишка, по виду из мастеровых. Он старался быть как можно более вежливым, деликатным. Офицерская реквизируемая шашка с анненским темляком, висевшая у него на боку, совсем не подходила к его деревенской внешности. Видно, ему было строго-настрого приказано политкомом части обращаться с населением вежливо, и он старался изо всех сил умерить свой чрезмерно громкий, несколько петушиный голос.

Никто из жильцов дома, конечно, не откликнулся на его

воззвание. Один только Николай Никанорович спустился по лестнице, вынес во двор две подушки и подал их делегату. Парень от неожиданности растерялся. Он никак не ожидал, что кто-нибудь из буржуев откликнется на его вежливый призыв.

– Спасибо, дяденька, – сказал он, беря подушки, – а как же вы сами-то обойдетесь без подушек? Ай вы нам сочувствующий?

– Нет, – строго ответил Николай Никанорович. – я не сочувствующий, потому что не могу сочувствовать никакому насилию. Но мне больно подумать, что простые русские люди должны будут спать в холодном сарае, на голых досках, да еще без подушек под головой. Ведь они мои братья.

На этом разговор Николая Никаноровича с представителем новой власти закончился. На другой день представитель снова появился во дворе и вернул подушки, выразив Николаю Никаноровичу благодарность от имени красноармейского подразделения, ночевавшего в сарае.

– Хотя вы, гражданин, и не сочувствуете нам, но все-таки спасибо, – строго прибавил он и удалился, презрительным взглядом окинув окна дома, откуда выглядывали испуганные лица жильцов.

Все это происходило лет шестьдесят тому назад, и теперь трудно было представить себе Николая Никаноровича с подушками и паренька, красноармейского делегата, стоящих

посередине того самого двора, мимо которого двоюродные братья проходили.

...Теперь это уже стало одной из легенд революции...

В то время обоих сыновей Николая Никаноровича – старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию, – смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома.

Николай Никанорович остался один в запущенной квартире и не знал, что делать. Сначала он ходил на базар и менял носильные вещи и белье на хлеб и сало, но скоро из вещей уже ничего не осталось, и он начал голодать, ограничиваясь кипяточком вместо чая. Больше всего его огорчало отсутствие оливкового масла для лампадки, которую он привык заправлять маленьким фитильком и зажигать перед иконой каждую губботу вечером. Почерневшая лампадка печально стояла перед иконой, за которой торчала сухая пальмовая ветка, сохранившаяся от прежних времен, а также бутылочка со святой крещенской водой.

Что было делать?

...Но он не впал в отчаяние, не стал роптать на судьбу. В нем заговорила наследственность старинного русского духовенства, еще не испорченного светской властью, отсутствие



сословной гордости, что всегда отличало сына вятскою соборного протоиерея. Он твердил про себя молитву Ефрема Сирина и стихи Пушкина:

«Отцы,,пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем взлететь во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв; но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста; все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! дух праздности унылой, любоначалаия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи“.

Дух праздности унылой был всегда чужд Николаю Никаноровичу. Он нашел себе поле деятельности.

В эти дни разразилась эпидемия сыпного тифа. Для борьбы с ним и со всякими другими эпидемиями штаб Красной Армии в срочном порядке сформировал санитарные поезда и банно-прачечные отряды, куда принимались на службу все желающие, которых обеспечивали красноармейским пайком.

Педагог с высшим образованием, медалист, написавший

некогда блестящую работу о влиянии византийского искусства на культуру Киевской Руси, на ее народное творчество, Николай Никанорович Синайский без колебания пошел в штаб Красной Армии и поступил на службу в банно-прачечный отряд.

Санитарный поезд пошел по железнодорожным линиям, обслуживая воинские части, ведущие бои с петлюровцами и различными бандитами.

...Он не устроился на какую-нибудь канцелярскую должность. Он сделался простым банщиком и честно зарабатывал свой красноармейский паек, моя раненых, больных и выздоравливающих бойцов, проходивших санобработку на станциях и полустанках, где останавливался санитарный поезд со своим банно-прачечным отрядом...

Худой, со впалым животом, голый, с одной лишь набедренной повязкой, делавшей его отчасти похожим на Иисуса Христа, он не жалея сил мылил казанским мылом и тер мочалкой спины выздоравливающих красноармейцев, а во время переездов со станции на станцию стирал солдатское белье в лоханке, откуда поднимался душный пар.

Он с детства усвоил себе, что смирение паче гордости, и когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат и стричь отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей по-

среди церкви на глазах у всех мыл ноги своему причту, наливая воду из серебряного кувшина в серебряный таз, а потом смиренно вытирал белые ноги своих подчиненных льняным полотенцем, как бы повторяя евангельскую легенду о Христе, омывавшем ноги своим ученикам-апостолам.

Николай Никанорович с умилением думал о том, что он хоть чем-нибудь может быть полезен своему народу, совершающему великий исторический подвиг революции, которую он, впрочем, как христианин не мог принять за ее жестокость, хотя и справедливую.

У него слезились глаза от банного пара, насыщенного едким запахом дезинфекции.

В одном из перегонов на поезд внезапно напала банда атamana Зеленого, перебила охрану и угнала паровоз, оставив банно-прачечный отряд в степи. Поездная прислуга и санитары, оставшиеся в живых, разбежались кто куда.

Николай Никанорович, кое-как одевшись, босой, с узелком за плечами, в своей старой соломенной шляпе, делавшей его похожим на псаломщика сельской церкви, отправился домой пешком по степи. Ему тогда уже было лет за шестьдесят.

Он шагал по тем самым местам Новороссийского края, где, будучи студентом, собирал этнографический материал для своей дипломной работы о влиянии византийского ис-

кусства на народное творчество Южной Руси. Он узнавал те деревни, где тогда останавливался, заходил в хаты и срисовывал в особую тетрадку синим и красным карандашами орнаменты с вышитых крестиком рушников, пасхальных крашенок, женских праздничных нарядов и мужских рубах.

О, как давно это было и как хорошо все это теперь вспоминалось!

Он ночевал на сеновалах, питался подаянием – серым пшеничным хлебом и молоком, которые выносили ему из хат хозяйки, считая его беглым священником. Он ел хлеб и пил холодное молоко прямо из глиняных поливенных глечиков, в то время как хозяйки – мужики были заняты в поле вместе с землемерами, деля помещичью землю, – жалобно смотрели на старика в соломенной шляпе. Он низко кланялся хозяйкам, благодаря за хлеб и молоко, и отправлялся дальше.

Ночью он шел по звездам.

Один раз на его пути попалось большое село с церковью, и он зашел в дом к священнику просить ночлега. Попадья, вышедшая к нему на крыльцо, оказалась бывшей епархиалкой, его ученицей. Она узнала его и расплакалась, утираясь рукавом кофточки. Он был ее любимым учителем, а она любимой его ученицей, прилежной и способной.

Появился ее муж – священник. Фамилия Синайского была ему хорошо знакома: он окончил ту самую семинарию, где инспектором был старший брат Николая Никаноровича, покойный Никанор Никанорович Синайский.

Священник пригласил Николая Никаноровича погостить у них. Бывшая епархиалка, теперь уже грузная, многодетная женщина с погрубевшим лицом, подарила своему бывшему любимому учителю поношенные, но еще целые штиблеты мужа, так что дальнейший путь Николай Никанорович проделал уже в штиблетах, надетых на босу ногу.

В общей сложности он шел пешком по степи две недели. Возраст давал себя чувствовать. Он шел уже не так быстро, как сначала. У него сделалась одышка. Колело в груди. Временами его поташнивало, кружилась голова, и ему приходилось садиться на землю среди степных трав и будяков.

...Вернувшись в город, Синайский нашел свою квартиру пустой и запущенной. Во время его отсутствия было реквизировано и отправлено в железнодорожный клуб пианино. Николаю Никаноровичу было странно видеть пустым то место, где стояло пианино. С этим пианино для Синайского было связано так много воспоминаний!

Но Синайский не огорчился. Он принял это как должное, со смирением. Пусть теперь его старое пианино послужит народу. Но его огорчало отсутствие сыновей.

Он был совершенно одинок и не знал, что же ему теперь делать. Но в мире оставалась еще одна родная душа.

И он отправился к своей племяннице Лизе. К тому времени она заметно постарела и уже не была такой прелестной, хотя соболю брови оставались все так же темны и красивы. На прежде таком нежном лице появились мужские черты, сделавшие ее похожей на покойную мать, французскую швейцарку. Ее счастливая жизнь кончилась уже давно вместе с жизнью так странно и внезапно умершего Пантелея, которого она любила всю жизнь. И теперь она уже не носила фамилию Амбарзаки, так как вышла вторично замуж и была Филиппова. Ее второй муж, пожилой вдовец с двумя детьми, был человек с тяжелым характером, но надежный и порядочный. Лиза вышла за него замуж потому, что ей было все равно. Она честно исполняла свой долг: вела хозяйство, воспитывала чужих детей и терпеливо делила свою жизнь с человеком, которого не любила, но уважала.

Увидев своего дядю Колю в таком странном виде, а главное, поняв по его лицу, что он тяжело, может быть, даже смертельно болен, Лиза настояла, чтобы он больше никуда не ходил, а остался жить у них. Он улыбнулся, и эта слабая, беспомощная улыбка любви и благодарности оказалась его последней улыбкой в жизни.

Оба его сына – старший, Саша, и младший, Жора, – вернулись в город уже после похорон отца.

Смерть любимого дяди Коли Лиза приняла, не выказывая своего отчаяния и горя, наружно так же спокойно, деятельно, как некогда ее мать Зинаида Эммануиловна приняла смерть Никанора Никаноровича. Лиза всецело отдалась заботам о достойном погребении покойного дяди. Она собственноручно обмыла его тело, обрядила, причесала, сложила его руки высоко на груди и вложила в окостеневшие пальцы с обрубальным кольцом, которое въелось в кожу, что его невозможно было снять с пальца, маленькую иконку, купленную на рыночном развале у монашки, а также остаток засохшей пальмовой ветки, вынудой из-за образа в квартире покойного на Пироговской улице.

...В гробу он был очень хорош, даже красив и моложав, в своем узеньком сюртучке, который отпарила, вычистила, выгладила и вставила в рукава белоснежные, накрахмаленные манжеты его племянница Лиза.

На панихиду и на похороны Николая Никаноровича, несмотря на такое опасное, тревожное время, пришло много народу.

Его помнили и любили.

Пришли бывшие его ученицы, уже теперь пожилые епархиалки, пришли старые университетские сокурсники – несколько стариков, оставшихся в живых, – пришли несколь-

ко рабочих, тоже стариков, которым он некогда преподавал русский язык и географию в школе десятников...

Пел хор бывших семинаристов...

Двоюродные братья дошли до угла Пироговской и Пролетарского бульвара. Тут Михаил Никанорович остановился, для того чтобы передохнуть. Лицо его побледнело и осунулось.

Они долго стояли молча, как бы заново переживая всю свою жизнь, жизнь внуков вятского протоиерея. Потом они повернули за угол и пошли по Пролетарскому бульвару вдоль все той же полинявшей, бледно-розовой, утомительно длинной госпитальной стены. Возле проходной они опять остановились.

– Ты, Саша, дальше меня не провожай, – сказал Михаил Никанорович, – я доплетусь до палаты как-нибудь своим ходом. Мне, знаешь, что-то совсем стало нехорошо. Я думаю, что на этот раз вряд ли выкручусь. Давай на всякий пожарный случай простимся. И вот еще что: если со мной это случится и тебе пришлют соответствующую телеграмму, то ты, пожалуйста, не приезжай. Не люблю я эти церемонии и тебе не советую.

– Ты, Миша, пессимист, – с наигранным весельем сказал Александр Николаевич.

– Нет, я просто опытный врач и материалист.



Они обнялись.

Из проходной вышел вахтер-инвалид с деревянной ногой, подхватил Михаила Никаноровича под руку и деликатно повел через проходную в госпитальный сад.

Некоторое время слышались их шаги по гравию.

Александр Николаевич остался один. Прихрамывая на раненую ногу, он пошел вдоль бульвара, мимо знаменитых мавританских ворот, надеясь по дороге поймать такси. Ему нужно было заехать в гостиницу «Красную» – бывшую «Бристоль», – где остановилась комиссия по охране окружающей среды.

Во время обследования района проезжали мимо порта Ильичевска, и никто, кроме членкора Синайского, не знал, что когда-то здесь был так называемый Сухой лиман – синее соленое озеро, отделенное от моря белоснежной песчаной косой, куда пенистые волны моря приносили к босым ногам молодых Синайских морских коньков и редкие ракушки.

Он вспомнил, что когда-то они называли Сухой лиман Геннисаретским озером.

*1985 г. Переделкино*